

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Андрей  
ПЛАТОНОВ

---

Ямская слобода



ImWerdenVerlag  
München 2006

© Печатается по тексту издания: Андрей Платонов. Избранные произведения в двух томах.  
М., Художественная литература, 1978  
Платонов А. П. Избранные произведения: Рассказы. Повести. — М.: Мысль, 1983  
© Состав, издательство «Художественная литература», 1978 г.  
© Оформление, издательство «Мысль», 1983 г.

© «Im Werden Verlag». Некоммерческое электронное издание. 2006. OCR Pirat  
<http://imwerden.de>

Уже пятьдесят лет в слободе находилась Миллионная улица. На ней стоял дом с деревянными ветхими воротами. Ворота были сделаны не из двух половин, а из одного дощатого настила, торцом навешенного на пару крюков. Давно умершее дерево от времени и забвения стало как бы почвой и занялось тихим мхом. Ворота открывались только водовозу — раз в неделю, — и то очень бережно, чем руководил сам хозяин. На левом столбовом упоре ворот — три железных заржавленных документа, одинаково древних:

«З. В. Астахов. № 192».

А сверху фамилии нарисованы в виде герба вилы и ведро; это означало, что домохозяин должен тащить на чей-нибудь пожар эти инструменты против огня. Другой документ гласил просто:

«Первое Российское Страхование Общество. 1827 г.».

Это указывало, что дом застрахован. А третья железка приглашала покупателей:

«Сей дом продается»,

— но ни один человек не заходил по этому делу к З. В. Астахову уже двадцать пятый год; поэтому железо успело померкнуть, а домовладелец забыл, зачем повесил его.

Прадед Захара Васильевича Астахова был царским ямщиком. Тогда правила царица Екатерина Вторая, а степные места стояли пустыми и страшными. В поселенцы сюда шел с севера на все согласный, норовистый, натерпевшийся народ. Люди думали найти здесь вольный хлеб, а встречали нужду, крутой труд и быстро дичали в дальней заброшенности. Но царица таких поселенцев редко трогала, хотя и были среди них люди преступного почина, немало вчинившие беды своим помещикам на северной родине. Царица рассматривала эту степную пустошь, залегшую меж южным морем и Москвой, как дорогу в теплую страну, которая ей зачем-то была необходима. Поэтому поселенцев она сочла дорожными жителями, нужными для прогона курьеров и чиновников по девственным степям. Редкий степной народ сразу приноровился к такой царской нужде — развел хороших худощавых лошадей, учредил кузницы и постоянные дворы, расставил по трактам трактиры — и начал возить всякую казенную службу.

Иные поселенцы, особо бедовые или богомольные, ушли глубже в степь, подальше от гонных трактов, и не стали причастными к казенному заработку. Там такие вы-

ходцы занялись глухой жизнью и годами ели свой хлеб, не видя казенного человека. Их-то и обделила впоследствии царица.

А кто пожадней и пояростней на легкую, веселую жизнь, тот остался на новых степных трактах, сел на облучок тарантаса, либо хлопотал в трактире и на постоянном дворе. А самые северные и западные уроженцы — из бесхлебных кустарных мест — устроили при дороге горн и наковальню и стали кузнецами. Иногда по степи неслись большие царские люди — тем было лестно угодить.

В старинной Ямской слободе, когда она была только придорожным хутором ямщиков, жили трое особых мужиков — предки Астахова, Теслина и Щепетильникова. Они отличались от прочих поселенцев неистойвой ревнивой любовью к лошадям, бабьим сладострастием и угодливой завистью к проезжим генералам и чиновникам. Они уже думали о своих конных заводах, только удобного случая разбогатеть не выходило.

Когда им приходилось спешно мчать какого-нибудь посланца из Петербурга, то они выпарывали из лошадей всю мочь: знали, что царский человек не обидит и даст ассигнаций на пару лошадей, когда одна упадет.

Купцы по этому направлению ездили редко — они больше почитали восточные или западные долгие реки: степную скачку они не уважали, а товары волокли навалом по дешевой воде.

Легкая жизнь шла недолго — года четыре. А потом чиновники сразу перестали густо платить. Если же даст, то такую малость, что на деготь не хватит.

— Мы, — говорят, — по казенной императорской цене вознаграждаем, а обиду императрице неси.

Ямщики притаили злобу и молчали. Вскоре же чиновники совсем перестали платить.

— На казенной земле, — говорят, — даром живете, — благодарите царицу, а то враз отсюда вон Потемкин погонит! Возить нас не труд, а развлечение и отечественная повинность! Поняли?

Ямщики понимали и уходили в темноту восточных степей — заниматься святым хлебопашеством. Так и погас степной ямщицкий промысел.

Но не все ямщики разбрелись — некоторые так втянулись в степную дорогу, что остались. Влекло их главным интересом то, что они надеялись на какую-нибудь награду от знатных ездоков и не верили, что всегда будет даровая гонка. Кроме того, они налегали на дорожные трактиры и постоянные дворы, где драли заграничные цены, как определил один проезжий.

Когда стало совсем мало степных ямщиков, то с государственными делами на юге России пошла неуправка: нужные чиновники задерживались в степи и не могли приехать в срок. Царице доложили, что степняки — бедный и своевольный народ, лучше пока их расположить чем-нибудь, — степной путь велик, и никакой злостной суеты на нем быть не должно. Царица определила по куску степи на каждого усердного и особо исполнительного ямщика. А заботу по поименному названию таких ямщиков — для следующего награждения их землей — возложила на ученого академика Бергравена, как сподручное ему дело в его странствии по южнорусской степи: Бергравен как раз в тот срок выезжал из Петербурга с научными изысканиями в русскую равнину и неоднократно должен пересечь ее во всех направлениях. Поэтому все ямщики ему будут налицо.

Бергравен был очень пожилой человек и весь расслабленный. Когда он попал к прадеду Астахова, то лег на полати и пролежал в полной слабости две недели, а ямщику Астахову сказал:

— Ты поезди-ка, дружок, один по степи да посмотри на высоких гладких местах: нет ли на земле завязи или скрепы какой, — вроде пуповины у тебя на животе; найдешь, тогда мне скажешь!

Сначала Астахов из страха ездил верхом по степи и искал земного пупка. Он даже удивлялся, почему раньше его не заметил. Но потом ездить перестал, а спал в дальней лощине целыми днями. Каждый вечер ученый его спрашивал:

— Ничего не обнаружил, дружок? Он ведь большой должен быть, вроде пня или кургана — весь в рубцах и расщелинах. А в щелях должна быть плутоническая твердая грязь! Ты не забудь пунктуально рассмотреть — тогда мне расскажешь!

— Ничего не заметил, ваше сиятельство, — одна ровная степь и ковыль! Где-нибудь пуп должен находиться; я догадываюсь, не в овраге ли он! Без пупа земля расплозлась бы — без шва нельзя!

— Ну вот, ну вот! — радовался чему-то ученый человек. — Конечно, земной замок имеется. Только где он, дружок?

— Может, в логу, ваше сиятельство? — покорно доводил до сведения ученого Астахов.

— Ну, чудачок, чудачок, что ты говоришь? Разве у тебя пуповина под мышками сидит? А? Ну что ты говоришь, ты подумай сам!

— Разыщу, ваше сиятельство, будьте покойны, отдыхайте! — говорил Астахов и шел на другой день с утра в лощину. Он уже у стариков спрашивал: где пупок на земном животе? Никто, оказывается, не видел.

— Может, и есть где в сердцевине степи, — аи туда доскачешь?

Астахов не хотел морить коня — сказал ученому, что уезжает на три дня в высокую дальнюю степь, а сам ускакал к куму-казаку в гости, за сорок верст.

— Что скажешь, дружок? — спросил ученый через три дня. — Доехал до пуповины?

— Нашел, ваше сиятельство! — сказал Астахов, равнодушно вздохнув. — В бугристом месте посередине степи торцом стоит — весь червивый такой, в кровоточинах и шитый из кусков! А видать, старый такой, обветшалый и из живого тела сотворен!..

Ученый неделю пытал Астахова и исписал на псалтыре целую стопку бумаги. Уезжая, ученый дал бумагу Астахову на сорок десятин земли, какую он сам выберет в степи.

Другие ямщики тоже кое-что урвали от ученого. Но сами ямщики до земли и до труда были не усердны — и роздали ее за малую аренду новым поселенцам-хлебопашцам.

Потом и царица умерла, и тракты пошли скорые, и почта учредилась, а Ямская слобода осталась навсегда. Только от старых времен у слобожан сохранилась земля, которую они по-прежнему сдавали крестьянам, да звание ямщика, хотя давно ни у кого не было ни одной легкой лошади.

Слободские люди жили тем, что привозили им мужики за землю, а добавляли к этому подсобный заработок, иногда мастерство и собственную бережливость.

## 2

В нынешний июльский день Захар Васильевич Астахов со сподручным парнем Филатом чинил в саду плетень.

Про Филата слободские люди говорили:

Наш Филатка —  
Всей слободе заплатка.

А девки лопотали в праздники:

Ах, Латушка, Филат —  
Ни сопат, ни горбат,  
Ничем не виноват,  
Сам девицам рад.  
А и вдовушкам не клад!

Это напрасно — Филат девицам не радовался; он — человек без памяти о своем родстве и жил разным слободским заработком: он мог чинить ведра и плетни, помогать в кузнице, замещал пастуха, оставался с грудным ребенком, когда какая-нибудь хозяйка уходила на базар, бегал в собор с поручением поставить свечку за болящего человека, караулил огороды, красил крыши суриком и рыл ямы в глухих лопухах, а потом носил туда вручную нечистоты из переполненных отхожих мест.

И еще кое-что мог делать Филат, но одного не мог — жениться. На это ему не раз указывали — летом кузнец, а зимой шорник Макар:

— Што ж ты, Филя, век свой зябнешь: в бабе — полжизни! Не раздражай себя, покуда тебе тридцать лет, потом рад бы, да кровостой жидок будет!

Филат немного гундосил, что люди принимали за признак дурости, но никогда не сердился:

— Да я непосилен, Макар Митрофанч! Мне абы б самому прокормиться да сторонкой прожить! Да в слободе и нету такой дурной девки, чтобы по мне пришлось!..

— Вот хреновина какая! — говорил Макар. — Да аль ты дурен? У мужика не облицовка дорога, а сок в теле! Про то все бабы знают, а ты нет!

— Какой во мне сок, Макар Митрофанч? Меня на мочегон только чего-то часто тянет, а больше ничем не сочусь!

— Дурной ты, Филат!.. — скорбно кончал Макар и принимался трудиться.

Филат работал спешно во всяком деле, а в кузнице у Макара Митрофановича с особой бодростью. Макар Митрофанович все больше говорил с мужиками-заказчиками, а Филат один попевал, как чорт в старинной истории: «Дуй — бей — воды — песку — углей!»

Но в нынешний день Филат помогал Захару Васильевичу. Июль удался погожий и знойный: самая пора для хлеба и сена. Сад З. В. Астахова прилегал сзади к самому двору и тоже был окружен садами других домовладельцев. В саду росло всего деревьев сорок — яблони, груши и два клена. Промежду деревьев место заняли лопух, крапива, крыжовник, малина и прелестная мальва, которая ничем не пахла, несмотря на красоту цветов.

— Закуривай, Филат! — закричал Захар Васильевич. — Глянь, сегодня день какой благородный, как на троицу!

Филат покорно слез с плетня и подошел к Захару Васильевичу, хотя не курил. Захар Васильевич был глуховат и время от времени спрашивал: «А?» Но Филат ничего не произносил, и Захар Васильевич, поведя на него белыми глазами, успокаивался насчет необходимости ответа.

Захар Васильевич курил, а Филат так просто стоял. Филат никогда не имел надобности говорить с человеком, а только отвечал, Захар же Васильевич постоянно и неизбежно мог думать и беседовать только об одном — о своем цепком сладострастии, но это не трогало сердце Филата. Сейчас тоже Захар Васильевич попытал Филата по этому делу.

Филат прослушал и вспомнил Макара Митрофановича — тот каждое воскресенье читал вечером по складам книги своей семье, а домашние и Филат умильно слушали чужие слова.

— Макарий Митрофанович по-печатному читал, — что в женщине человеку открывается, то на белом свете закрывается.

— Да ну, чушь какая! — удивлялся и отвергал Захар Васильевич.

— Я не знаю, Захар Васильевич, в книге по-печатному написано! — не сопротивлялся Филат, но сам тайно верил в справедливость книги.

Поработав на плетнях еще часа два, труженики шли обедать.

В той степной черноземной полосе, где навсегда расположилась Ямская слобода, лето было длинно и прекрасно, но не злило землю до бесплодия, а открывало всю ее благотворность и помогало до зимы вполне разродиться. Душащая сила черноземного плодородия исходила даже в излишних растениях — лопухах и репьях — и способствовала вечерней, гложущей мошкаре.

В тот июль было душно — людей тянуло на квас и на легкую жидкую пищу. Хозяйка Захара Васильевича поставила обед на дворе. Стол был накрыт под кущей сирени — в прохладной тени. Жадный, нетерпеливый Захар Васильевич сейчас же подошел к столу, не ожидая жены, а Филат совестливо остановился вдалеке.

Захар Васильевич, увидя в чашке молоко, подернутое пленкой, подумал, что оно — холодное. Он взял половник и без оглядки, наспех хватил его целиком внутрь. Вслед за этим первым принятием пищи он харкнул и неожиданно — с большой скоростью — перелез через забор к соседу. Филат смутился, как будто он был виноват, и отошел еще дальше от стола. Вышла хозяйка и спросила:

— А где же Захар-то?

— К соседу чего-то кинулся!

— А кто молочный кулеш расплескал? Ты, что ль, хватаешь, не дождешься никак, — ведь он вар!

— Я не брал, — сказал Филат, — это хозяин покушал.

Но хозяин пропал и пришел не так скоро. Он обошел длинную улицу с обеих сторон и тогда вошел в калитку на свой двор. Филата тяготила немощь от голода, но он терпел. Хозяйка поймала курицу, которая квохтала и хотела сесть наседкой, и окунула ее в кадку с водой, слегка попарывая хворостиной, чтобы курица бросила свою блажь и начала нести яйца.

Тогда вошел Захар Васильевич и, совсем успокоенный, кротко сказал:

— Давайте обедать — все нутро сжег! Аккуратней и меньше всех ел Филат. Он знал, что он всем чужой и ему никто не простит лишней еды, а в будущий раз — откажут в работе.

За обедом Захар Васильевич по глухой привычке иногда спрашивал:

— А?

Но евские молча чавкали, и разговор не начинался. Когда хозяйка дала говядину, то Филат присмотрелся к своему куску и начал копать его пальцами.

— Чего ты? — спросил Захар Васильевич.

— Волосья чьи-то запутались! — ответил Филат, стеснявшийся своей брезгливости.

— Пищей требуешь! — сказал хозяин. — А ты глотай ее — пуцай она потом в пузе разбирается!

Здесь Захар Васильевич добродушно поглядел на жену: дескать, ничего, дело терпится!

Хозяйка разглядела волосок на мясе Филата и раздраженно заявила:

— Да ты небось сам его приволок своими погаными руками — у меня таких длинных и нету!

Захар Васильевич сейчас ел мягкую кашу, но спешил, как зверь, стараясь захватить побольше.

— Хо-хо-хо! Да что ты, Филат, одного волоса испугался — у твоей присухи сколько их будет! Весь век во щах ловить будешь!..

Филат стеснительно улыбался и давно проглотил волос, чтобы не обижать хозяев.

— Захарушка, правда, нынче каша хорошо упарилась? — нарочно ласково спросила жена, чтобы муж забыл поскорее про нечистоплотный волос.

Хозяин тогда медленно начал жевать кашу, чтобы взять ее достоинство, и дал среднюю оценку:

— Каша — терпимая!

Тут отворилась калитка и вошел пожилой человек — с кнутом в руках, но без лошади.

Захар Васильевич, не ослабляя своей работы над обедом, дал человеку подойти к столу и потом спросил:

— Ты чего, Понтий?

Человек помолчал, снял зимнюю шапку, на кого-то перекрестился и степенно сказал:

— Ну, здравствуйте! Приятного вам аппетита! — и замолчал; а Филат ожидал, смотря на его приготовления, что он сейчас расскажет Бог знает что.

— Здравствуй! — приветствовал гостя хозяин и, рыгнув, положил ложку: — Будя, натрескался! Ты насчет ямы, Понтий? Теперча не нужно: Филат намедни горстями по лопухам все расплескал! Хо-хо, Филат жуток на расправу!

Человек с кнутом еще постоял и ушел не сразу.

— Так, стало быть, теперча не нужно?

— Нет, Понтий, Филат живьем все унес! — ответил хозяин.

— Ну, а когда дело будет неминуемо — нас не забывайте, Захар Васильевич!

— Ну еще бы, Понтий! Только бочку полней наливай и черпак возьми не худой, а что тебе Макар заново справил!

— Да уж чего там, Захар Васильевич! Возкой не обижу! Прощевайте пока!

— С Богом, Понтий! По улицам добро не проливай — вонь от тебя с малолетства помню!

Но Понтий не услышал последнего напутствия: его кнут раздражал собак — и дворовый Волчок моментально начал лаять, как только Понтий отошел от стола.

Это был Пантелеймон Гаврилович — хозяин слободского ассенизационного обоза, самый богатый и самый скромный человек во всей слободе. Для простоты и из уважения к нему люди его звали Понтием. Работал Понтий с семи лет на одном и том же деле, ел с рабочими один хлеб и много лет не спал ночей, подремывая лишь на передке дрог с бочкой, когда обоз выезжал из слободы в глухой дальний лог.

— Вот тебе бы золотарем стать — хлебное дело! — говорил после обеда Захар Васильевич Филату и задумывался — как будто и сам не прочь стать им. Но Филат и раньше думал про это занятие, только выходило, что ему нужно сто рублей на лошадь и дроги с бочкой. Если бы рубашки и штаны не носились, тогда через пятнадцать лет у Филата очутились бы эти сто рублей, а иначе не будет денег.

Макар два вечера в прошлом году при лампе считал и говорил Филату:

— Нет, брат, капитал нужен велик; если бы ты харчи не натурой получал, а деньгами... то и тогда, скажем, тебе полтора года следует не есть либо пять лет голодать — выбирай сам! Вот тебе и будет лошадь при дрогах!

До позднего вечера, пока комары силу не взяли, Захар Васильевич с Филатом кончали задний плетень. Пахло навозом и кислотой давно обжитой почвы, но и этот



воздух казался благоуханием после духоты низких жилищ — и в Захаре Васильевиче он разжигал аппетит на ужин.

Ужинали они под той же сиренью. Чуткий вечер во всеуслышание разносил голоса соседей и отпирал все тайные запахи дворов. Захар Васильевич пил парное молоко и наслаждался мирной жизнью и грядущим сном. А Филат обошелся без молока — поел только хлеба с огурцами — и слушал голос соседа Теслина, что заклинал доску под живопись на завтра. Это случалось каждый вечер — все знали и уже не слушали, но хозяйка Захара Васильевича сказала:

— Вон Василь Прохорыч опять забубнил! Ты где ляжешь — со мной или в сенцах?..

Захар Васильевич ответил, что в сенцах — от жары чего-то мочи нет.

Теслин писал церковные иконы, но, веря в Бога, он не верил в животворящую силу своего таланта. Поэтому готовую доску — для божественного изображения — он не сразу пускал под кисть, а сначала троекратно прикладывал к животу своей жены и троекратно же произносил нараспев:

Пропахни жизнью.  
Пропахни деревом,  
Пропахни девой...

Делал это Теслин почему-то обязательно в погожий вечер, а в ненастье копил доски до освящения их на жене, но кистью ранее того не малевал. Ни одной иконы никто из соседей никогда не видел: через знакомого в монастырской ризнице Теслин сбывал их в дальние села и в северные скиты. Это и хорошо, потому что слободские богомольцы не стали бы молиться на такие святотатственные иконы — с живота бабы.

После ужина все жители обязательно выходили на улицу и садились на лавочки у домов — посидеть. Вышел и Филат с хозяином и хозяйкой. У хозяйки рос живот, и Захар Васильевич ждал к ноябрю мальчишку: говорил, что дом поручить после смерти некому и что фамилию Астаховых учредила Екатерина Великая — проездом по этим местам. Захар Васильевич два года боялся, что ему от царя достанется, если потомства не будет — пока жена не почала: тогда утихнул совестью и повеселел на дому. Филат не знал — не то это правда, не то Захар Васильевич зазнался от своего положения, — но ничего не спрашивал.

На лавочке уже сидел какой-то молодой, но толстый мальчик. Его знали немного: Володька, сын железнодорожного жандарма с другого конца улицы.

— Подвинься-ка, барчук, — сказал Захар Васильевич.

Тот не подвинулся, а встал, оскорбил и ушел:

— Налопались, уроды, да вышли!

Тогда все трое сели, и Захар Васильевич громко заикал, но ничуть не беспокоился об этом, а заговорил с женой о ягодах на варенье:

— Ты, Насть, вишню теперь волоком волоки, иначе не уцепишь — цена на ее пойдет! Она долго не держится!

— Я бы малинки хотела маленько прикупить — маловато сварили, на зиму не хватит — ты пить здоров, тебе только подавай!

— С малиной время терпит — ты смородину не упusti!

— Знаю, знаю, заказала одному мужику — в пятницу привезет.

— Ты молоко-то отнесла в погреб? Скиснет!..

— Не скиснет, — сейчас пойдем ложиться — отнесу!

— Завтра керосину купи полфунта — опять клопы в койке...

Филат сидел и дышал — у него ничего не готовилось впрок, — и он мог свободно умереть, если работа переমেжится недели на две. Но он никогда не помнил об этом, а прожил нечаянно почти тридцать лет.

У Теслиных тоже сидели, только на завалинке: у них не было скамейки.

Завечерело совсем — и не было видно лица у старушки, которая только что вышла из дома Теслиных. Напротив дома Теслиных также сидели люди и что-то бормотали в темноте. Старушка от Теслиных ласково сказала туда:

— Никитишна, здравствуй!

С лавочки напротив раздался певучий ответ из щербатого рта:

— Здравствуй, здравствуй, Пелагей Иванна!

И обе старушки смолкли, потому что все было заранее переговорено: сорок лет знакомы, тридцать лет соседями живут.

Сверчки напевали свою вечернюю песню, отчего на улице становилось уютней, а на душе покойней. Вдалеке иногда шумели поезда железной дороги, но ни в ком не вызывали ни чувств, ни воспоминаний, потому что никто не ездил по железной дороге. Ежегодное путешествие, совершаемое половиной людей из слободы, было пешим: сопровождение крестного хода из ближнего Иоакимовского монастыря до реки преподобного Вараввы — восемьдесят верст по степному тракту. Еще бывали путешествия на подводах — в ближние деревни на престольные праздники, где гости объедались грубой громадной пищей и иногда кончались.

В садах слободы что-то тихо брюзжало и наводило жуть. Ночные сады — страшное видение, и никто из жителей слободы там летом не спал, несмотря на свежесть воздуха. Днем деревья стояли зелеными и кроткими, а ночью ужасали трепетом своих фантастических кущ.

— На покой пора! — объявил Захар Васильевич и поднялся, чтобы закончить сегодняшний день.

Филат лег на дворе у сарая — на куче травы, которую он заготовил впрок на все ночи у Захара Васильевича.

Ни одна слободская усадьба уже не жила наяву — все почивали или, шепча молитвы, укладывались.

Филат до тех пор смотрел на непонятные звезды, пока не подумал, что они ближе не подойдут и ему ничем не помогут, — тогда он покорно заснул до нового, лучшего дня.

### 3

Там, где Ямская слобода кончалась порожним местом, на которое валили без спросу всякую житейскую чушь, стояла старая хата вольного мастерового Игната Княгина, по-уличному — Сват. Хата имела одну комнату и одного жильца.

— Женись! — приставала многосемейная слобода к каждому холостому человеку — и к Свату. — Не торчи перстом!

— Я те женюсь! — отсекал подстрекателю Сват. — Я сам человек со значением — на что мне бабье потомство!

Сват был пришедший человек, а не здешний. Поэтому ему досталась нежилая хата на слободской свалке, где до него жили женатые нищие; но Сват их живо выселил, и побирушки рассеялись неизвестно куда, а в слободе сразу извелось нищенство.

Такой энергией Сват сразу привлек к себе добродетельных домовладельцев из слободы, и те больше не боялись ставить молоко в сенцах. А раньше, бывало, нищие ходили и самовольно выпивали это молоко, поставленное к обеду, и еще многое подъедали, не для них приготовленное. Понятно — это нехороший порядок, и хозя-

ева развели собак на каждом дворе, но собаки постепенно привыкли к нищим и не лаяли на них.

Тогда явился Сват и лишил главных нищих жилого призора, отчего они, не ожидая зимы, выехали в дальнейшие южные города.

Слободская свалка, составлявшая как бы усадьбу дома Свата, была знаменитым местом. Сам дом Свата был тоже когда-то свалочным жильем — без оконных рам, без печки и без потолка: одни стены и редкая железная крыша. Дом некогда принадлежал неизвестному бобылю, теперь давно умершему. Слободской староста определил цену этому беспризорному недвижимому имуществу в восемь рублей сорок три копейки, но в казну поступают имения лишь дороже десяти рублей — так дом и остался ничьим, а впоследствии им овладели нищие. Сват хотя и изгнал нищих, но уважал их за одно, что они привели дом в жилой и гожий вид.

— Да это делалось не от ума, а от зимней вьюги! — объяснял он себе домовитость нищих.

Однако выселенные люди ушли не сразу, а месяца два громили по ночам окна камнями и поджигали деревянную дверь. Но Сват одиноко выдерживал осаду, а на заре, когда нищие уставали от штурма и засыпали на близлежащих кучах мусора, Сват делал вылазку. Он не мстил обездоленным, а только заставлял их исправлять ошибки неразумного поведения.

— Ключник! — подходил Сват к которомунибудь сонному нищему: он их всех изучил поименно. — Расшивай рублевку — ты оконную раму повредил!

Ключник сразу догадывался, в чем дело, и поэтому никак не мог проснуться. Баба его давно проснулась и хлопала глазами от ужаса, а муж ее лежал и притворялся, изредка бормоча не относящиеся к делу слова. Сват стоял и терпеливо предлагал Ключнику уплатить рубль. А нищий то открывает глаза, то закрывает — и ничего будто не понимает. Тогда Сват брал где-нибудь строительный кирпич и швырял им молча в голову нищего, но так ловко, что кирпич только обжигал воздухом ухо, а в голову не попадал.

— Расшивай рубль, сатана! — грозно гремел огромный Сват.

Жена нищего, визжа и приговаривая, вскакивала и расшивала из захолустий юбки рубль. Сват, получив причитающееся, отставал и уходил разыскивать в кучах следующего должника.

Наверно, Сват был раньше метким солдатом или фокусником на деревенских ярмарках, что так ловко и безвредно мог бить в опасные места.

Отучив нищих, Сват занялся беспримерным делом: отысканием в свалочных кучах драгоценных вещей. Только чужому, прилюдному человеку могло прийти в голову такое соображение. Ямская слобода жила так бережливо, что стаканы оставались целыми от деда и завещались будущим людям. Детей же били исключительно за порчу имущества, и притом били зверски, трепеща от умопомрачительной злобы, что с порчей вещей погибает собственная жизнь. Так, на потомственном накоплении — только и держалась слобода. Но Сват не знал, что в слободе люди живут не заработком, а жадностью, и надеялся сыскать на свалке кое-что общепольное, чтобы сбывать и кормиться:

Прокопавшись с неделю, Сват догадался, что ему надо или бежать отсюда, или умирать с голоду — в отбросах скупости не попадалось драгоценных потерь. Все-таки Сват надеялся хоть на что-нибудь и рыл руками кучи, изучая в точности каждый предмет. Но кости были обглоданы так чисто, словно обожженные, и так тонки, точно принадлежали курице, поэтому их не брали сборщики костей и тряпок; несомненно, что и эти кости предъявлялись сборщикам и пошли на свалку только после неоднократных отказов их.

Тряпичная ветошь дымилась на пальцах и явно не годилась больше ни в какую отделку. Неведомый прах сыпался в горстях Свата, тоже ничем его не привлекая.

В ветреные дни все это забвенное дерьмо пылило и осаждалось где-нибудь по ту сторону хозяйственной жизни человека. Но Сват не успокоился: он выпросил у одной вдовы огромное прямоугольное сито — принадлежность веялки — и начал сквозь него просыпать все кучи по очереди. Оставшиеся сверх сита предметы он, не изучая, относил в домашний угол, а по вечерам рассматривал добычу. Первый вечер не принес ему никакого утешения: в добыче значились куски твердого закоснелого кала, изжившие себя мочалки, четверть подошвы от валенка, какая-то жестяная зазубринка в два зуба, махор с чепца или камилавки, два камушка, веточка с сухими ягодами — «бесево», крошево бутылочного стекла, окамелок веника, птичье гнездо и многое иное, но равно дешевое.

Сват в задумчивости сидел до полуночи, а к заре окончательно поник от беспросветной нужды.

— Буду шапки делать — скоро осень! — сказал он себе утром. — Может, что выйдет! В слободе шапок не готовят, а в городе они дороги, а я по дешевке их буду шить из старых валенок, абы голову человеку грело!

Днем Сват ходил в город — продал сапоги и зипун, — а под вечерний благовест уже был в слободе. За плечами у него держался мешок, в руках палка от собак, а в кармане четыре рубля и два гривенника.

— Валушки ношенные, старые, чиненые здесь поку-па-аю! — кричал Сват чужим голосом и озирался на окна и калитки.

Часа два ходил Сват с одной и той же песней — и все зря: ничего не купил. Только раз высунулась из ворот баба в нижней юбке и с намыленными руками:

— А расколотые утюги не берешь?

— Нет! — сказал Сват.

— А чего же ты берешь?

— Валенки!

— Так кто ж тебе их продаст, на зиму-то глядя! У-у, бестолковый пралич! Ты б утюги брал аль вьюшки печные чинил!..

— Того не надо мне! — говорил Сват. — Иди стирай подштанники, а меня не учи: я сам ученый, сученый, крученый, моченый, печеный, драченый... Валушки ношенные, старые, чиненые — здесь покупа-аю!

Баба пучила на проходимца одеревенелые, напуганные глаза, а потом в сердцах хлопала калиткой.

«Хлеб только собрали — какая же зима? — думал Сват. — До чего ж тут народ заботлив — вперед времени идет!»

Филат с Захаром Васильевичем в это время закончили плетень. Но чтобы работнику вышел полный день и оправдать его ужин, Захар Васильевич нашел дело:

— Филат, прочеши плетень, чтобы он не пушился, а потом к Макару сбегает за ведром — он ушко приделал!

Филат пошел вдоль плетня, чтобы вправить внутрь торчащие хворостины, а иные лишние изъять прочь. Плетень от такой правки получался ровный и плавный, а каждый свиток прутьев лежал уместно. После такого дела Филат надел валенки, чтобы не бередить израненных плетнем ног, и тронулся к Макару.

Сват к этому часу купил пару валеных опорок и шел знатной походкой. К такой походке его располагало плотное, стройное тело и выправка прежней, неизвестной жизни. От радости первой удачи Сват неутомно орал свой призыв к продаже валенок.

Филат шел навстречу ему враскорячку — он никогда не служил в солдатах и не видел в жизни ничего строгого, точного и мощного.

— Скидай валенки, Филат! — сразу предложил Сват и стал в уме определять цену.

— Для чего, Игнат Порфирыч? У меня ноги в ссадинах, а от худобы желваки пошли!

— Что ж ты худой такой? — серьезно спросил Сват и положил наземь мешок. — Некормленный, что ль, живешь или сам больной?

— Да я, Игнат Порфирыч, к вечеру слабну, а по утрам встать не могу...

— Говядину-то часто ешь, сны по ночам видишь? — снова спросил Сват и с мрачной задумчивостью оглядел всего Филата.

— Снов я не вижу, Игнат Порфирыч, мне думать не о чем, а говядину хозяева сами едят — ее не купишь, говорят, — а мне овощ порцией дают!

— Ишь сволочь какая! — не со злобой, а с горем проговорил Сват. — От овоща в человеке упора нет!.. А там, черти-дураки, кровь проливают...

— Где? — спросил Филат, и глаза его засочились от чужого участия.

— Где — не на бабьей бороде: на войне! Слыхал ты что-нибудь про войну иль тут анчутки живут?

— Слыхал, Игнат Порфирыч! У меня в теле недомерок есть — бумагу на руки дали, так и хожу с ней — боюсь захватить куда-нибудь. А по нашей слободе мужиков мало забрали: кто на железную дорогу учетником стал, а кто белобилетник.

— Знаю, тут ямщики живут — екатерининские помещики! Им что: мужик к зиме всего доставит!

— Это правильно, Игнат Порфирыч, осенью обозами прут!

— Ну, ладно, чорт с ними! — закончил беседу Сват и после молчания кратко определил население Ямской слободы: — Глисты в мужицких кишках — вот кто твои хозяева!

Филат не сообразил, но согласился: он не считал себя умным человеком.

— Ты кроток, но глуп — не особенно! — успокаивал Филата Сват.

— Да мне что, Игнат Порфирыч, весь век одними руками работаю — голова всегда на отдыхе, вот она и завяла! — сознался Филат.

— Ничего, Филат, пуцай голова отдохнет, когда-нибудь и она задумается! — говорил Сват и шумно выдыхал воздух, скорбя всею грудью. — Ты у кого работаешь-то сейчас?

— Да у Захара Васильевича нынче плетни кончили в саду, а завтра пойду по дворам напрашиваться!

— Ты вот что — приходи ко мне шапки шить, а там видно будет!

— Аль ты умеешь? — усомнился чего-то Филат.

— Можем. А ты поймешь?

— И я справлюсь! — подобрел Филат и пошел наконец к Макару за ведром. А Сват тронулся дальше опрашивать слободу насчет валенок.

Два человека сидели на земляном полу в хате Свата и ладили из стволов валенок зимние шапки. Работали они уже целую неделю, а сделали всего четыре шапки. На обед им шли хлеб, огурцы и капуста, но они были довольны; только от скуки дикого ландшафта свалочной пустоши и какой-то тесной темноты в сердце Свату иногда казалось, что солнце навсегда померкло — и он проверял его взором в окно, а солнце заходило за облачко, освобождалось — и вновь светало.

— Перетерпело, сволочь! — говорил о солнце Сват. — Вот, подлюка, над всякой жизнью светит — ничего не ценит: хуже скота!

Вечерами они не отдыхали — Сват спешил к Успенской ярмарке, чтобы хоть немного выручить денег и облагородить себя и Филата в одежде.

Когда становилось по-ночному темно, Сват кончал первым и говорил:

— Будя, Филат, — ноги свело, в душе морщины пошли! Достань из мешка хлеба — пожую, и аминь!

В слободе шел густой сон, даже пар над домами поднимался, но это часто и тихо дышала земля, выгоняя дневные человеческие яды.

Сват любил перед сном постоять на крыльце и поглядеть ночной мир. Он видел, как внутри огромного туловища земли уходило ее гремящее, бушующее сердце и там во тьме продолжало трепетать до утреннего освобождения. Свату нравилось это ежедневное событие, а ничего удивительного не было.

Спали они жутко — от усталости и общей тяжести жизни.

#### 4

Подружился Филат со Сватом теплее кровного родства и думал навек остаться у него шапочным сподручным, если Сват преждевременно не прогонит.

Зато без Филата на слободе многие дела пришли в запустение: поздно обнаружилось, что Филат был единственным и необходимым мастером, способным пользоваться всякое дворовое хозяйство. Другого такого кроткого, способного и дешевого человека не было. Иные хозяйки приходили к Филату на свалку и стучали в окошко.

— Филатушка, ты бы зашел: крыша мочится, в самоваре решетка провалилась!

По доброте сердца Филат никому не мог отказать.

— Как управлюсь — зайду, Митревна! В воскресенье жди обязательно.

Сват обижался на стоворчивость Филата:

— Чего ты этих юбошниц приучаешь? Мало они тебя порцией овоща кормили? Дурной идол!

Раз зашел Захар Васильевич, оглядел шапочное занятие и попросил:

— Зайди, Филат, жена двоих снесла — не знаю, куда деваться! — И ушел, не услышав по глухоте ответа Филата.

— К этому сходи! — сам сказал Сват. — Человеку действительно трудно!

В воскресенье Филат явился к Захару Васильевичу. Бледная, омертвевшая хозяйка лежала на деревянной кровати, на которой от клопов в обыкновенное время не спали. Филату стало жалко хозяйку, и он молча глядел в ее тонкое, благородное лицо.

— Ты что, Филат? — мучительным шепотом спросила хозяйка. — Пришел?..

— Пришел, Настасья Семеновна... Может, вам помочь нужно...

— Ах, мне ничего не надо, Филат. Спроси у Захара!

Филат почувствовал стеснительную неловкость от своего бесполезного участия и ушел из горницы. Ему было чего-то жалко и совестно, как будто он повинен в мучении Настасьи Семеновны. Тело его ломило от нервной боли, и он горел от непонятного тягостного стыда, какой случался с ним в ранней молодости. Он никогда не искал женщины, но полюбил бы страшно, верно и горячо, если бы хоть одна рябая девка пожалела его и привлекла к себе с материнской кротостью и нежностью. Он бы потерял себя под ее защищающей лаской и до смерти не утомился бы любить ее. Но такого не случилось ни разу — и Филат волновался и трепетал сейчас от чужой брачной тайны.

Захар Васильевич ходил добрым и негромко указывал:

— Филат, наноси воды на ночь!.. Курам не забудь пашенца дать к вечеру!

Филат и сам следил за всем в такой день. В неутомонной суете ему всегда жилось легче: что-то свое, сердечное и трудное, в работе забывалось. Про это и Сват однажды сказал:

— Работа для нашего брата — милосердие! Дело не в харчах — они надобны, но человека не покрывают! В работе, брат, душа засыпает и нечаянно утешается!

И Филат нынче с яростью мел двор, сделав все остальное, о чем мог догадаться. Захар Васильевич выходил редко — все сидел в горнице около жены. Это тоже почему-то радовало Филата. «Сиди, брат, — думал он, пыля метлой, — я уж тут сам управлюсь, я один, а вы — двое: не обижай жену!»

До полуночи бродил по двору Филат, следя за тишиной и порядком, но все давно замерло, только одна наседка квохтала на яйцах в сарае.

Что-то тревожило Филата и настораживало на бдительность, но из дома ничего не слышалось, наверно, Настасья Семеновна уснула и восстанавливала свои силы, истекавшие с родовыми кровями.

Утомившись, Филат постелил под дворовой сиренью свой старый пиджачок и склонился ко сну, но спал так чутко, что слышал над головой ход и дрожание ночи. Где-то на слободских пустырях неугомонно брехала собака, ей издали и одиноко отвечала другая — и лай их жалобно и безответно тонул в густоте тьмы. Филат слышал лай сквозь толщину померкшего медленного сознания, но звук был такой тонкий и грустный, будто шел из неизвестного потерянного мира, — это успокаивало Филата, и он не просыпался. Сиреневая ветка шевелилась над самыми глазами Филата, но ночь лежала плотно и не трогала спертый воздух: ветка колебалась сама — от древесной жизни и внутреннего беспокойства.

Проснулся Филат на ранней крепкой заре — через сени было слышно, как в горнице судорожно плакал ребенок Настасьи Семеновны, в первый раз от рождения. Филат сейчас же поднялся на ноги и пошел по двору, прислушиваясь к странному, жалобному крику.

Скоро ребенок плакать перестал — Настасья Семеновна чем-то материнским убаготворила его, — и наружу вышел Захар Васильевич с равнодушным, измученным лицом.

— Филат! — сказал он. — Ставь самовар — теплая вода нужна, а позже на базар сходишь и в аптеку!

Филат с особой цопкой ловкостью начал щеплять лучинки, радуясь своей полезной работе для Настасьи Семеновны и цветущему будущему дню.

Слободские жители тоже поднялись и бродили по дворам в поисках разных житейских вещей. Они еще зевали, чесали глаза и жмурились от настигавшего их расцветающего солнца. В этот ранний прозрачный час у каждого человека в груди томится восторг, но позже — часам к десяти — у радости вышибается дух домашним остервенением и злобой всяких забот. На третий день Захар Васильевич назначил крестины, но с полудня отказал Филату в работе, так как пришли две кумы, которые одни смогут управиться в хозяйстве.

Филат взял пиджак, подвязал веревочкой подошву к валенку и пошел на свалку к Свату. Настасья Семеновна сидела в горнице и тюлюлюкала своих двоешек, а около окон с улицы стояли озабоченные бабы и шептались о таком событии.

Для Свата и Филата зима бы прошла плохо, если бы они не были так дружны. А для слободы она тянулась долго и худо: война звала мужчин, а жены вдовели и тосковали. Но пропадало народу не так много: вблизи слободы уже лет десять строилась и чинилась какая-то железная дорога — и там укрывались люди от военной службы.

Захар Васильевич тоже поступил кровельщиком на железную дорогу и с утра уходил на работу, набирая в мешок харчей. Труд, видимо, томил его, и он жил с осунувшимся, оскорбленным лицом.

— Игнат Порфирыч, а почему вы не на войне? Вон малый у Гладких — такая худа, и то забрали! — спросил однажды днем Филат у Свата.

— Э, куда ты вдарил, браток! — хитро засмеялся Сват. — Я человек на исходе: у меня контузия в голову — помаленьку с ума схожу!

Филат открыл рот и сказал:

— А-а! А с виду вы человек умный, Игнат Порфирыч!

— То-то я и шапки с тобой из ветошек леплю — вошь на чужой башке утепляем! А был бы дурак — я бы в окопах под царем и отечеством лежал.

Филат опять открыл рот, но не сообразил, что дальше спросить.

Вечером, укладываясь спать, Сват сам сказал с попонки:

— Я, Филат, ушел с войны по своему желанию! Дюже там скорбно, и своя жизнь делается ни к чему. Только ты никому зря не сказывай!

— Да мне что, Игнат Порфирыч! — испуганно и поспешно ответил Филат. — Аи мне нужно? Только вы сами напрасно кому не скажите, что мне открылись! А то мне первому достанется!

— Что ж я, сам на себя буду, что ль, наговаривать, курья твоя башка? — зычно обиделся Сват и разжег потухшую сигарку.

И весь разговор забылся.

## 5

Рано смеркались срединные дни зимы, бесшумно и забыто лежал снег на равнине. Ямская слобода жила — не дышала, а Сват и Филат с прежней неукротимостью шили шапки, хотя чувствовали, что скоро шапкам конец и чем тогда заниматься — неизвестно.

— Пойдемте, Игнат Порфирыч, в ночные сторожа — в колотушечники! Милое дело — ночью караулить, а днем отдыхать! Только пока Прохор с Савелием не помрут, нас не возьмут — они давно живут в колотушечниках и их слободской староста любит!

— Нет, Филат! — заявил Сват. — Я в твои колотушечники не пойду. Лучше я буду днем в пустую бочку суковатой палкой задаром колотить, а в сторожа не пойду! Я еще свежий мужик, что ты меня в старики сдаешь? Мы еще обождем!

Шапочная работа еще кое-как шла, и сбыт был. Обыкновенно покупали шапки дальние мужики, но дело уже клонилось к весне, и шапки можно было брать только в солку, впрок, до будущего года. Несмотря на усердие в работе и экономную пищу, Сват и Филат ничего не заработали в запас, так что после шапок хоть дворы иди громить.

Заходит раз к шапочникам незнакомый мужик и спрашивает с порога:

— А картузы вы делать можете?

— Можем! — ответил Сват, чтобы завлечь человека.

— И козырек с глянцем сумеете сообразить?

— Можем и глянцу достать, если сто картузов себе купишь у нас! — сообщил Сват.

Мужик ехидно засмеялся и сел на лавку, опытно поглядев на шапочных мастеров. Он снял картуз, на котором был козырек без глянца, и сведущим голосом упрекнул:

— Черти-чудаки! Да разве глянцевого лаку теперь достанешь где — он из Германии раньше вагонами шел! Кого вы учите-то, вошебойщики? Я сам весь век картузник! А теперь будя дурака гладить, я и под картузом знаю, что находится!..

Загадочный мужик так чего-то разобиделся, что не мог смиренно сидеть, и начал рассматривать самый материал, из которого Сват и Филат делали свои незавидные шапки.



— Да разве это матерьял? Это — злодейство! Чем вы мысль-то, чем вы голову-то человека защищаете? Ведь это же валенок — он же пот копит и когти прячет, а вы самую голову задумали им украшать! Черти, холуйщики!

Сват живо раскусил гостя:

— Слушай, друг, а ты не с фронта, — в голову не контужен?

Мужик немного смирился:

— Оттуда... Газом в ум шибануло! Отпущен околевать домой. Все равно я без глянца работать не могу — туманный козырек ореола голове человека не дает! Как же можно?

— Мы сейчас есть собирались! — сказал Сват. — Садись, солдат, покушать!

— Давай, если угощаешь! — согласился гость. — Только достань мне молочка — хлеб макать; я тюрю такую дома едал и страсть соскучился по ней...

— Достанем и молочка тебе! — добрым голосом угощал Сват. — Чего-чего, а молочко есть! От станции-то пешком домой прешь?

— Конечно, пешком! — без обиды и тихо сказал гость. — У солдата откуда деньги? А даром кто меня повезет?

Прошел день, ночь, и новый день уже постарел, а гость обжился и позабыл уйти, хотя башмаков не снимал. Он присел к Филату и умело кроил валяный материал. Сват не препятствовал хорошему человеку, только окорачивал его в еде. Действительно, гость кушал очень лихо и терял рассудок от аппетита, так что Филату мало доставалось.

— Уйми жвало, едок! — говорил Сват гостю. — Тут не ты один кормишься! Ишь, всю кашу в один мах пробузовал!

Гость немного укрощал себя, а потом снова забывался и потел от напряжения скул.

— Ты, должно быть, в работе горазд, раз есть так можешь? — спросил Сват.

— Ну, еще бы! — подтвердил гость. — Весь на мускуле стою — по семь дней на фронте черепа, не спавши, крушил! Меру картох с товарищем в присест съедал!

— А на шитье-то ты усидчив? — любопытно спросил Сват.

— Это для меня пустота! — заявил гость. — Это я могу неотлучно неделями сидеть, лишь бы хлеб рядом лежал!..

В слободе кротко звонили к вечерне, а три друга утомлялись за работой. Чтобы перебивать усталость, Сват время от времени пытал гостя:

— Ну а что ж ты у нас обосновался? Аль у тебя родных нет?

Гость спохватывался и сообщал:

— Была жена да теща: жена ребенка заспала и сама удушилась на полотенце, а теща теперь на паперти с рукой стоит! Вот я теперь и тоскую сам с собой: сын бы нужен мне, да жены сразу не сыщешь.

— Зачем тебе сын? — удивился Сват. — Ты сам хлеба не ешь — мученика хочешь родить?

— Ну а то как же? — ничего не понимал гость. — Мне теперь не жить, и никому не цвель — то война, то забота, — нет ничего задушевного. А сын малолетства не запомнит, а вырастет — тогда будет хорошо...

Сват сомневался:

— То никому не известно! Может, тогда еще больше увечья будет!

— Нельзя, я тебе говорю! — злобно заспорил гость и встал с пола. — Немыслимое дело! Я только молчу, а у меня с горя сердце кровью мокнет! Я весь заржавел от скорби — не знаю, куда мне деться! Ты думаешь — я с радости у тебя на пол сел за твои шапки, дырявая голова!.. Я на фронте был — там народ поголовно погибает, а ты говоришь, что сын мой еще больше увечиться будет! Да разве я дам его какой своло-

чи! Разве я пушу его на такое мученье, хамское ты отродье, дурак заштопанный? Да я горло гнилыми зубами по швам распушу за такое дело — любому сукину сыну — в полмомента!..

Сват сидел и улыбался, довольный, что задел гостя за живое нутро. А гость подышал немного, собрал разбежавшиеся от возбуждения слова и снова принялся бить:

— Бабы ублюдки, недоноски чортовы! Выдумали царя, веру, запечатали сверху отечеством и бьют народ, чтоб верность такой выдумки доказать! Явится еще кто-нибудь — расчешет в культяпой голове иную выдумку и почнет дальше народ замертво класть! А это все чтоб одной правде все поверили! Да будь вы прокляты, триединые стервы!

Гость плюнул жидкими слюнями и треснул по плевку австрийским опорком.

Сват тянул дым из сигарки и весь светлел от удовольствия:

— Верно, друг, правильно! Живи у нас теперь задаром — я не знал, что ты такой!

Филат тоже радовался новому человеку и заговорил от себя:

— У кого есть родня дома, тот скучает на войне... А жена с сыном жальчей всех ему...

Загостивший солдат обратил внимание на Филата и, заметя его слова, открыл свою новую мысль:

— Царь и богатые люди не знают, что сплошного народу на свете нету, а живут кучками сыновья, матери, и один дороже другому. И так цепко кровями все ухвачены, что расцепить — хуже, чем убить... А сверху глядеть — один ровный народ, и никто никому не дорог! Сукины они дети, да разве же допустимо любовь у человека отнимать? Чем потом оплачивать будут?

Гость говорил и жадно шевелил пальцами, как будто лепил руками теплые семьи и сплывал родственников густой нераздельной кровью. Под конец он успокоился и тихо сообщил:

— Дюже много люди умственно соображают — это всем бедам беда...

— Да что ты, друг! — чуть ухмыльнулся Сват. — А я думал, ум нам в нужде помощник!

Гость подумал дальше:

— Когда помощник, то хорошо, а то его на жадность тянет — вот где горе! Человек бросится, а поперек дороги сердечное чувство лежит, его и потопчут! А после вернуться и плачут...

— Оставайся! — окончательно сказал Сват. — Проживем и втроем — не объешь!

Гость сейчас же стал разуваться и протяжно вздохнул, как дома. В первый раз он оглядел все жилище и нашел его удобным, потому что почувствовал такую усталость, которую не выспать за многие ночи подряд.

— Ишь! — сказал Сват ночью, когда гость спал. — Благородные люди думают, что мы рожаемся да жрем, а он вон живет и мучается, и в голове у него бурчит...

Филат дремал и думал о госте, что тяжко ему было сына и жену хоронить, — хорошо — у него нет никого, — и, не осилив себя, заснул.

Ночи понемногу кратчали, а нужда шапочников длинела — товар перестали брать. Снег начал оттапливаться солнцем и желтел от проступавшего прошлогоднего навоза. Иногда дни сверкали лучше летних — белизна замороженного снега в упор сопротивлялась солнечному огню — и чистый воздух остро мерцал от колкого холода и тягучего тепла.

Слобода жила зажмурившись — война подсушила благополучие ямщиков, и люди не хотели в такое время замечать роскошь новой весны.

Захар Васильевич тщательно работал на железной дороге и боялся одного — снятия с учета и отправки на фронт. Два мальчика его росли, но отец любил их грубо, ничем не баловал и не ласкал.

А Настасья Семеновна обмирала о детях и так боялась за своих первенцев, что постоянно мучила их лекарствами, трепеща до ужаса от детского поноса.

Макар шорничал и любовно готовился к летнему кузнечному ремеслу, заранее вкушая прелесть открытых летних дней. Прочие люди также жили толково, каждый надеясь на что-нибудь лучшее и легкое.

Сват радовался увеличению света и тепла на дворе, но немного кручинился и завидовал мертвым неподвижным вещам: им незнакома была забота о еде и благополучии, они жили в каком-то покое и полном отдании себя.

— Летом с голоду и нарочно не умрешь! — говорил гость Миша, узнав про заботу Свата. — Можно голубей бить, рыбки сходим наловим, зелени съедобной надергаем — вот и суп и уха, а на второе блюдо — гуща!

Однако Сват загодя отправил Филата на его прежний заработок в слободу.

— Хоть и жалко тебя, кроткий человек, и сдружились мы с тобой, но сам видишь — втроем невтерпеж, а Мише некуда деваться!

Второй день мастера уже ничего не делали, а нынче Миша ходил за хлебом на последний пятак и то не мог донести хлеб в целости до дома — весь по дороге исковырял и выел мякушко.

— Ну-к что ж! — сказал Филат. — Пойду по дворам наведываться — где-нибудь останусь! А к вам, Игнат Порфирыч, в другой раз буду побалакать приходиться!..

## 6

Весна негромко проступала сонной мокрой землей на всяких вздутых почвы. Филат шел и радовался, что у него есть знакомый — Игнат Порфирыч, и дом на свалках, куда можно всегда пойти.

Устроился он у Макара — доделывать четыре хомута и караулить кузницу, а сам Макар поехал по железной дороге наменять угля для горна. Многие люди в слободе говорили, что нельзя достать необходимых вещей, но ни Сват, ни Филат, ни Миша ни разу не имели нужды в таком предмете, который бы пропал из продажи. Поэтому только в слободе Филат понял, что такое война и ее сосущая, обездоливающая сила.

Слобода от сырости и отсутствия ремонта вся побурела и скорбно глядела запавшими окнами, как человек впроголодь. Собаки похудели и ночью молчали. И все шло в какую-то прорву; даже Филату жалко стало, и он готов был работать за самую плохую еду. Но Макар оставил ему пищи достаточно, потому что зимой занимался нужным ремеслом, работал на мужиков и в пище себе не отказывал.

Макар не возвращался долго, и Филат скучал без дела — хомуты он давно пошил. Каждый день он ходил к Свату и Мише: тем совсем было худо, и они существовали только тем, что Филат приносил из своих остатков.

А Филат приносил не остатки, а почти все, что ему полагалось есть у Макара, а себе оставлял одну хлебную горбушку и четыре картошки.

— Да ты сам-то сыт? — спрашивал Сват. — Гляди, съесть нам немудро, а ты ослабнешь!

— Не ослабну! — стеснялся Филат. — Работы сейчас нету, а на одно дыханье много есть не надо.

Сват обижался:

— Сообразил — дыханье! Ты погляди на Мишу: он тоже одним дыханьем занимается, а может сейчас любого зверя съесть!

— Могу! — лежа подтвердил Миша и вздохнул от аппетита.

Однажды Филат испуганно проснулся. В закоулке кузницы, где он спал, было так темно, что Филат чувствовал себя безопасно. Ночь за бревенчатой стеной укрыла слободу тихой чернотой и спрятала ее из мира до утра. Ничто внятно не тревожилось. Сонные ямщики, должно быть, не раз меняли отлежанные бока. Захар Васильевич говорил Филату, при починке плетня, что Настасья Семеновна как повернется ночью, так он летит на пол.

— Да Настя моя еще не так толста, а у кого баба толстая — вот кому горячка! — рассуждал и смеялся Захар Васильевич.

Но сейчас — совсем тихо; на улице нельзя услышать, как падают на пол мужа от ворочающихся, разопревших жен.

Вдруг Филат вздрогнул и приподнялся, а потом услышал — раз за разом — резкую, скорую стрельбу и смутный шум далекого страха.

Забывший сам себя, Филат никогда не видел окрестностей за околицей слободы, только помнил свою детскую деревню, где рос с матерью. Филату от работы некогда было опомниться и подумать головой о постороннем, — и так постепенно и нечаянно он отвык от размышления; а потом, — когда захотел, — уже нечем было: голова от бездействия ослабла навсегда.

Поэтому Филат сейчас задрожал и испугался от непонимания стрельбы. Про войну он знал, но вообразить ее не мог ни по каким рассказам Миши.

Стрельба утихла, зато явственно кричали люди. Филат догадался, что это на вокзале, и вышел наружу.

Небо вывездило, и Филат внимательно оглядел его. В таком внимании к ночному небу жила старая мечта Филата — заметить звезду в то время, когда она отрывается с места и летит. Падающие звезды с детства волновали его, но он ни разу за всю жизнь не мог увидеть звезду, когда она трогается с неба.

Утром приехал Макар, — без угля и задумчивый:

— Царя давно нету — на железной дороге дезертиры бунтуют... А мы сидим — ничего не знаем: народ шпалы со станции тащит, паровозы, говорят, артелям будут раздавать...

Филату эта весть была такой чужедальней, что он не очумел от нее, как Макар, а только молчал от небольшого любопытства. Он смутно чувствовал, что плетни, ведра, хомуты и другие вещи навсегда останутся в слободе и какой-нибудь человек их будет чинить.

К вечеру, как управился, Филат пошел к Свату, но встретил его с Мишей по дороге. Миша-гость шел весело и нес целый хлеб, а Сват глядел сам не свой от скрытого душевного движения.

— Уходим, Филат! — печально сказал Сват. — Теперь прощай, раз слободе мы не надобны.

— Да — ишь сукины дети! — угрожал Миша. — Хамье чертово: завзяли землю, живут на покое, а ты никому не нужен — ходи, блуждай!

Проводил их Филат до вокзала и попрощался:

— Может, придете когда, Игнат Порфирыч, слободу проведать?

Филат глядел на отбывающих с покорным горем и не знал, чем помочь себе в тоске расставания.

Сват тоже растрогался и смутился. У конца пути он обнял Филата и поцеловал его колючими усами в шершавые засохшие губы, которые целовала только мать, когда они были младенческими. Филат испугался поцелуя и жалобно сморщился от нечаянных непривычных слез.

— Но, обмокла баба, а то мужиком бы была! — уныло сказал Миша и потянул Свата: — Ну чего ты расстраиваешь человека, — он других людей найдет! Просто он блажной такой!

Филат не сразу пошел к Макару, а дал круг и в тоске добрел до свалки. Хата Игната Порфирыча стояла теперь порожняя и смиренная, но Филату казалось, что и стены и окна сучали по ушедшим — и скорбели от одиночества. Живой, милой и дорогой осталась опустелая хата, пропахшая людьми, бросившими ее. Филат постоял, потрогал дверь за ручку — ее каждый день брал Сват; поглядел в поле — его видел Игнат Порфирыч; прилег на пол — здесь спали они всю мрачную зиму, — и отвернулся от душевного отчаяния, которое нельзя было заместить никаким утешением.

Ежедневно ходил Филат к своей хате на свалке и издали смотрел на нее привязанными, нежными глазами. Он безрассудно ждал, что дверь откроется; выйдет Игнат Порфирыч с сигаркой и скажет:

— Заходи, Филат, чего ж ты на ветру стоишь! Я всегда тебе рад, кроткий человек!

По ночам на станции иногда стреляли, иногда нет. А слобода запасалась удовольствием, срочно стягивая все недоимки с мужиков за прошлогодний урожай. Захар Васильевич лично ездил в деревню к своему арендатору и наказывал:

— Время, Прохор, мутное, а ты мне пшеница должен сорок пудов, вези, пока дорога завокла, а то скоро распушит, тогда до самой фоминой недели не просохнет!

— Да я уж не знаю, Захар Васильевич, как и быть? — сомневался Прохор, не теряя учтивости в словах. — Говорят, будто земля теперь даром мужику отойдет и с недоимками дело терпится!

Захар Васильевич моргал от сердечного остервенения и слушал клекот своей разгневанной крови. Но говорил спокойно, чтобы осмеять мужика.

— Новая власть не дурает старой, Прохор! Ты не думай, — там дураков сменили, а помещиков поставили — теперь еще крепче земля в их руках зажмет! Оно и верно: ты свой надел тоже даром соседу не откажешь! Революция — это одна свобода, а собственность тут ни при чем, — как была, так и останется!

— Надел — дело малое! — отвечал и раздумывал Прохор. — Не о нем теперча речь. А один солдат меня страшил, чтоб никак не сметь аренду платить, а то новая власть провалится и война вся сначала пойдет...

— Война не перестанет! — заявлял Захар Васильевич. — Война до конца германца будет идти! А о земле новых прав нету, Прохор, ты и думать забудь! А с пшеном не копайся, а то на будущий год на хутора землю отдам, — там народ посходней...

— Да это дело ваше, Захар Васильевич! А с пшеном не задержу; как телегу на ход поставлю, так и буду в слободе... Зря болтают люди, а мы подхватываем, а кто же его знает, — как будет, никому не известно! Завтра на станцию пешком схожу — солдат поспрошаю!

— Вали, Прохор, поспрошай, ноги у тебя не казенные и башка своя — никому не жалко! — сердился под конец Захар Васильевич и прощался.

Ямщики в слободе загудели. Староста через день созывал сходы и направлял недовольство в законное русло:

— С фронта дезертирии окаянной прет видимо-невидимо: врага отечества свободно пускают внутрь православной земли! Что же теперь делать, православные, когда и мужик даже обнаглел и чужую землю самовольно хочет от владельцев отнять! Таких уставов, по-моему, в законе нету! Но чтоб усечь нахальное самоуправство, нам нынче же надоть всем чином послать бумагу в губернию, чтобы там знали, что делается, и всем под той бумагой полностью и понятно расписаться!..

Филат жил без охоты и усердия — без Игната Порфирыча у него не было никакого интереса. У Макара от смутного времени притихла всякая работа, и он скоро отказал Филату: сам, говорит, видишь — делать нечего, а вдвоем сидеть неважно — ступай по дворам!

## 7

Посреди слободы стоял двухэтажный старый дом. Около него колодезь, а у колодца круглый сарай — темница для лошади. В той темнице целый день лошадь кружилась на узком месте, таская деревянное водило. На водиле закручивались и раскручивались веревки, которые таскали бадьями воду из колодца. Вода сливалась в большой чан, а из чана напускалась в корыта. Из корыта крестьяне, приезжавшие в слободу на базар, поили лошадей по копейке с головы, а люди пили бесплатно.

В двухэтажном доме жил владелец колодца Спиридон Матвейч Сухоруков с женой Марфой Алексеевной и двумя детьми — мальчиками.

Филата Макар на прощанье сытно покормил, поэтому Филат зашел на колодезь воды испить. Но вода из чана не текла, а у двери темного сарая стоял Спиридон Матвейч и злобно глядел на прохожего.

— Колодца не копал, а пить хочешь, бродяжий сын! Подойди-ка сюда!

Филат подошел.

— Куда идешь? — спросил Спиридон Матвейч.

— Вышел работенки поспросить! — ответил Филат; Спиридон Матвейч отошел сердцем:

— Бродите вы тут, материны дети, только землю зря ногами карябаετε! Иди, я тебя к коню поставлю — мой холуй на деревню бунтовать ушел!

Филат очутился в темном сарае, где, зажмурившись, стояла худая лошадь.

— Чмокай на нее, чтоб она ходила! — сказал Спиридон Матвейч. — А сам наружу поглядывай: даром народ не пои — бери по копейке с воза, а с иного две!

Лошадь побрела по кругу, от натуги наливая кровью тощие жилы. Изредка она замирала и становилась : тогда Филат на нее чмокал — и лошадь дергала водило.

Шли темные часы, и Филата начала морить тесная и безответная тоска. Он выходил наружу, слушал, как хлопают и опрокидываются в чан полные бадьи, и осматривал пустоту глухой улицы. Видно было просторное поле, где светилась весна, но там ни один человек не шел. Филат грустно вспоминал Игната Порфирыча, но участь лошади, таскающей воду из колодца, была еще беспросветней — и Филату делалось от этого легче.

По ночам Филата клали в чулане, через стенку со спальней хозяев. Отвыкший спать в помещениях, Филат мучился от духоты и пугался потолка — ему казалось, что потолок снижается, как только он закрывает глаза.

Постепенно — навстречу лету — всходила трава и наряжалась в свои цветы молодости. Сады вдруг застеснялись и наскоро укрылись листвой. Почва запахла тревожным возбуждением, будто хотела родить особенную вечную жизнь, и луна сияла, как огонь на могиле любимых мертвецов, как фонарь над всеми дорогами, на которых встречаются и расстаются люди.

Филат с жалостью гонял свою лошадь и задумывался в темном сарае. Лошадь к нему привыкла и ходила без понуканий, поэтому Филат целые дни сидел самостоятельно — без всякого дела, лишь иногда принимая копейки от мужиков-водопоищиков. В ленивом или бездельном человеке всегда вырастают скорби и мысли, как сорная трава по бросовой непаханой почве. Так случилось и с Филатом; но голова его, заросшая покойным салом бездействия, воображала и вспоминала смутно, огромно

и страшно — как первое движение гор, заледеневших в кристаллы от давления и девственного забвения. Так что, когда шевелилась у Филата мысль, он слышал ее гул в своем сердце.

Иногда Филату казалось, что если бы он мог хорошо и гладко думать, как другие люди, то ему было бы легче одолеть сердечный гнет от неясного тоскующего зова. Этот зов звучал и вечерами превращался в явственный голос, говоривший малопонятные глухие слова. Но мозг не думал, а скрежетал — источник ясного сознания в нем был забит навсегда и не поддавался напору смутного чувства. Тогда Филат шел к лошади и помогал ей тащить водило, упирая сзади. Сделав кругов десять, он чувствовал качающую тошноту и пил холодную воду. Воду он любил пить помногу, она почему-то хорошо действовала на душевный покой — свежесть и чистота. Душу же свою Филат ощущал, как бугорок в горле, и иногда гладил горло, когда было жутко от одиночества и от памяти по Игнате Порфирыче.

В сарай часто забегал Васька — восьмилетний сын Спиридона Матвеича, охальный и умный мальчик. Филат его ласкал по голове и что-нибудь рассказывал. Васька тоже рассказывал, но особенное:

— Филат, мамка опять на горшок садится, а отец ругается...

— Ну, пускай, Вась, садится, она, может, больная и ветра на дворе боится! — объяснял Филат.

— Нет, Филат, она нарочно делает, чтоб отцу не продыхнуть: она такая блаженная, — правда!

Филат начинал про другое — про Свата и Мишу-солдата. Но мальчик, послушав, опять вспоминал:

— Мать вчера чугунок со щами пролила, а отец ей как дернул рогачом по пузу... А мать кричит, что у ней краски тронулись, правда! Отец говорит: «Крась крышу, шлюха», — а мать не полезла на чердак, а легла на койку и плачет! Она всегда у нас притворяется!..

Филат мучился от слов мальчика и думал про себя! «Вот нас теперь трое — лошадь, я и мать мальчика». Тоскливое горе расколосось на три части — и на каждого пришлось меньше.

Однажды Васька прибежал рано утром и закричал:

— Филат! Иди погляди — мамка в сенцах опять села, а отец на дворе кулеш поел, нам ничего не оставил!

Филат успокаивал мальчика, но самому было нехорошо.

После обеда Филат пошел в дом — ему нужно было взять денег у Спиридона Матвеича на новую веревку для бадьи.

Из сеней он услышал дикий издевленный крик Васьки и шепчущий голос его матери, которая хотела, наверно, ублаготворить ребенка и не могла.

— Дай свечку, зараза! — кричал Васька грозные слова, как большой. — Кому я говорю?! Дашь или нет — долго мне дожидаться? А то сейчас самовар на пол свалю, подлая тварь!

Мать ему быстро и испуганно шептала:

— Вась, ну не надо, Вась! Я сейчас найду тебе свечку — ты же сам ее вчера всю сжег... Я пойду за хлебом — куплю тебе новую...

— А я тебе говорю — ты спрятала свечку, проклятая сатана! — хрипел Васька и шевелил что-то гремящее, должно быть самовар.

— Ну, Вась, у меня же нету свечки — я куплю тебе ее...

— А я говорю — дай сейчас же! А то — вот тебе...

За этим загремела медь, и полилась шипящая вода: Васька сволок на пол самовар.

— Я же тебе говорил, чтоб дала, а ты все не давала! — уже спокойно объяснил Васька происшествие.

Филат осторожно открыл дверь и вошел в кухню, чувствуя свое бьющееся сердце и срам на щеках.

На табуретке сидела молодая женщина и плакала, прижав к глазам конец кофты.

Васька сердито глядел на живой кипяток и не сразу заметил Филата, а когда увидел, то сказал матери:

— Ага! Ты что наделала? Я вот отцу скажу — самовар полудили, а ты его на пол! Пусть только отец придет — он тебе покажет!

Женщина молча плакала. Филат испугался больше сына и матери и забыл, зачем он пришел. Женщина торопливо взглянула на него одичалыми черными глазами и вновь спрятала их под веки. Она была худа и очень красива — смуглая, измученная, с лицом, на котором глаза, рот, нос и уши хранились, точно украшения. Неизвестно, как это все уцелело после родов, детей, мужа и такой губительной судьбы.

Другой мальчик, поменьше Васьки, сидел в углу и неслышно плакал вместе с матерью. Филат заметил, что он больше похож на мать — чёрный, с мягким настороженным лицом, будто постоянно ожидающим удара.

Спиридона Матвейча, очевидно, дома не было — и Филат без слов ушел.

В большие праздники Филат ходил либо к Макару, либо так просто в поле. Макар говорил, что революция, как дождь, стороной где-то прошла, а Ямской слободы не тронула, и больше что-то ничего не видать и не слышать: не то все кончилось, не то ливнем льет над другими местами.

— Да нам все равно! — беседовал Макар. — На всех богатства не достанет, а вот хлеба скоро не будет, тогда все само укротится!

— А на станции народ все едет? — спрашивал Филат.

— Едет, Филат! Дуром прет — вся война в хаты бежит! Да что ж, не без конца воевать — народ наболелся, теперь его не трожь!

Филат подолгу засиживался у Макара и все интересовался, пока тот не начинал зевать и указывать:

— Ты бы шел, Филат, нам с тобой сегодня отдых полагается, а то меня чего-то на немощь тянет!

Филат уходил и замолкал до будущего праздничного дня.

Зеленый свет лета уже смеркался и переходил в синий — свет зрелости и плодородного торжества. Филат наблюдал и думал о том, что скоро начнут снижаться такие высокие полдни, а лето постареет и станет коричневым, а потом желтым и золотым — таков цвет седой природы. Тогда слобода опять сожмется в домах и в четыре часа дня будет запирать свои ставни и зажигать керосиновый свет.

Слобода считала дни до уборки урожая и гадала — привезут аренду мужики или нет. Спиридон Матвейч был злой человек, изверг для домашней жены, но имел проницательный ум, когда беседовал с соседями у колодца.

Ямщики приходили к нему даже нарочно — спросить, что он думает о своей земле.

— Теперь земли у меня нет! — отвечал Спиридон Матвейч. — Мужики отъемом взяли — в расплату за войну...

— Да ведь правов-то новых еще не вышло, Спиридон Матвейч! — убеждал себя и собеседника ямщик. — Они хамством взяли, а не по закону!

Спиридон Матвейч мрачно осматривал голову говорившего, на которой остался лишь ободок волос. Он всегда наливался тяжелым гневом против глупости человека.

— Ты волос, должно быть, не от ума терял, а от греха, Ириной Фролыч! Хамство прячется тогда, когда сила царства его пугает, а теперь какое, к чорту, у нас царство? Паровозы и то хотели по деревням растащить, а то земля: земля — первая вещь!



— Значит, ямщикам смерть приходит? — смирно спрашивал Ириной Фролыч.

Спиридон Матвеич делался серьезным до печали.

— Умирать еще погодим, Ириной. Я думаю, расправа будет наша, а не ихняя.

— А аренду-то ждать в нынешнем году аль в будущем?

— Совсем не жди! — говорил Спиридон Матвеич. — И думать забудь — ни с какой арендой мужик теперь не явится, сам чем-нибудь промышляй!

Филат слушал и начинал понимать простоту революции — отъем земли. В ямщиках он давно заметил злую скрытую обиду и большой тревожный страх. Но страх в них день ото дня рос, а злоба таяла и превращалась в смирное огорчение, потому что в мужиках происходило наоборот: обида выросла в злую волю, а воля вела войну с помещиками — пожаром и разгромом.

Ямщики думали, что и слободе несдобровать, но потом поняли, что они — мелкие землевладельцы, а у мужиков и без них много хлопот.

Филат стал сосредоточенней глядеть по сторонам, хотя ничего легкого для себя не ждал. Он знал, что ворота для него нигде сами не откроются и зимой опять придется лютовать — еще хуже прошлогоднего: тогда хоть Игнат Порфирыч был. Но втайне Филат чувствовал какую-то влекущую мысль: он надеялся, что если выйдет из слободы, то с голоду не пропадет, а раньше бы пропал. Постоянный скрытый страх за жизнь, с годами превратившийся в кротость, рассасывался внутри сам по себе, а сердце все больше разогревалось волнующими первыми желаниями. Чего он желал — Филат не знал. Иногда ему хотелось очутиться среди множества людей и заговорить о всем мире, как он одиноко догадывался о нем. Иногда — выйти на дорогу и навсегда забыть Ямскую слободу, тридцать лет дремучей жизни и то невыразимое сердечное тяготение, которое владеет, наверное, всеми людьми и увлекает их в темноту судьбы.

Филат не мог, как все много работавшие люди, думать сразу — ни с того ни с сего, он сначала что-нибудь чувствовал, а потом его чувство забиралось в голову, громко и изменяя ее нежное устройство. И на первых порах чувство так грубо встряхивало мысль, что она рождалась чудовищем и ее нельзя было гладко выговорить. Голова все еще не отвечала на смутное чувство, от этого Филат терял равновесие жизни.

В дом Игната Порфирыча Филат ходил редко: там вновь поселились нищие и беженцы, которые даже свалочную площадь сумели загадить. Но тоска по утрате друга у Филата теперь заросла грустным воспоминанием, почти не мучительным. Дом же привлекал не одной памятью о прошлом, но и звал уйти за теми, кто ушел из него. Этот дом как-то обнадеживал и радовал Филата и облегчал его время в слободе, будто то были последние дни, которые можно прожить как попало.

## 8

Осень вступила по мягким осыпавшимся листьям и долго хранила землю сухой, а небо ясным. Очищенные от хлеба поля казались прохладной пустотой, и над ними реяли невидимые волосы паутины. Небо сияло голубым дном, как чаша, выпитая жадными устами. И шли те трогательные и потрясающие события, на которых существует мир, никогда не повторяясь и всегда поражая. Ежедневно человек из глубины и низов земли заново открывал белый свет над головой и питался кровью удивительных надежд.

Филат любил осень — в противоположность страху рассудка перед зимой. Ему казалось, что небо выше, воздуха больше и дышится легче. И в этом году он созерцал знакомую и новую осень, чуть прислушиваясь к заботам ямщиков. А ямщики не столько заботились, сколько слушали, что делается на свете, и передавали друг другу. Они еще верили, что революция — дурацкая сказка, и не боялись ее.

Сначала говорили, что земля обратно отходит к ямщикам — вышел новый крепкий закон, — и германца начали бить снова. Потом это забылось, и мир где-то бушевал молча, не доходя до слободы своим голосом.

Ямщики целой толпой ходили на станцию и спрашивали у стрелочника — не пора ли разбирать пути и все вокзальное имущество делить по народу. Стрелочник сказал, что пока надо погодить, но того не миновать — когда выйдет срок, он прибежит на слободу и скажет. Ямщики взяли из штабеля по шпале на двоих и пришли домой, немного обрадовав жен таким приобретением. Они особенно бывали довольны, когда удавалось что-нибудь получить задаром, хотя бы даровые предметы и не приходились к хозяйству. Покупать же ничего не любили — им всегда казалось, что цена дорога. Это вышло исстари и уложилось в характере. Ведь вся годовая пища привозилась ямщику бесплатно мужиком, как аренда за землю, а дома были собственные; зато одежда служила причиной горя и семейных разладов, потому что она по необходимости, хотя и изредка, покупалась за деньги.

Старушки в одно воскресенье собрались после обедни на паперти храма и тронулись за околицу. Они заранее запаслись мешочками с постной пищей, уговорились с батюшкой и вышли шествием на Иоакимовский монастырь. Филат ходил на край слободы — получать с одного ямщика долг за хозяина, но не получил — ямщик был одинокий вдовец и ушел в монахи, отказав усадьбу теще. Филат увидел толпу бредущих старух и испугался их, как своей беды. Старухи шли с шепотом, распустив жидкие мертвые волосы. Их ноги скорбели в густом песке, и они поднимали юбки, чтобы не пылить, показывая худую остроту холодных ног. Священник шел впереди и отвлекал лицо от спутниц: он был еще не стар, но жизнь его запугала. Старухи спустились в слободской лог и скрылись за кустарником. Филат поглядел на следы самодельных мягких туфель и вспомнил почему-то гробы на чердаках, которые очень старые ямщики всегда готовили себе впрок и бережно хранили. Зато женщины, несмотря на старость, никогда преждевременно гробов не заказывали и погибали в старых подвенечных платьях.

Ямщики-солдаты, которые остались живы, все вернулись домой и по-разному рассказывали о революции: кто объяснял, что это — евреи восстали и громят все народы, чтобы остаться одним на земле и целиком завладеть ею, а кто говорил, что просто босота трясет богачей и надо бросить слободу и бежать грабить имения и города, пока там осталось кое-что.

Пожилые ямщики увещевали людей молиться и ссылались на Библию, где нынешнее время до точности предсказано, и — надо только молиться с таким усердием, пока кровь не пойдет вместо пота, — тогда человек обратится в дух.

— А ты попробуй — помолись до крови! — говорил такому проповеднику Спиридон Матвейч, хитро подразумевая что-то про себя. — А мы поглядим, лучше ли станет твоему духу, когда жизнь пропадет!

— И попробую, и облегчусь! — исступленно отвечал пожилой ямщик. — А ты посмотри себе в сердце — аи тебе любя нынешняя жизнь: ни сыт, ни голоден, народ поедом ест друг дружку, царя испоганили, самого Бога колышут... Ты погляди — ведь над тобой твердь дрожит!..

Спиридон Матвейч смотрел на твердь:

— Твердь ничего не дрожит: ты думаешь, есть когда Богу такой суетой заниматься? Ишь ты, важный какой — Бог только и следит за тобой!

— Я — не важный собой, да душа во мне есть — господнее имущество! — серчал и волновался старик.

— Не показывай тогда этого имущества никому — придет мужик или босяк и отымет: ты знаешь нынешнее время?

Спиридон Матвейч уже бедствовал с семьей — это видел Филат. Но он был самый умный в слободе и без раздражения терпел, раз не было спасения. До войны он держал большую лавку и прочно богател, но лавка сторела вместе с домом. Спиридон Матвейч выдержал нужду, продал половину земли — спешно отстроился заново и купил колодезь. Говорят, на пожаре у него задохнулась дочка от первой жены и он сам преждевременно бросил тушить двор, не видя смысла в имуществе без дочери. С того же года у него затмилось сердце — к людям он стал относиться резко и невнимательно, как к личным врагам.

Теперешнюю жену Спиридон Матвейч любил — Филат видел его скрытые заботы о ней, — но никогда не мог сдержать безумного нрава и бил ее неожиданно и чем попало, мучаясь и сжигая себя. Причина этого лежала не в виновности жены, а в глубоком затаенном горе, превратившемся в болезнь. Сам Спиридон Матвейч знал, что жена его добрая и красивая, и после избиения ее он иногда приходил в сарай и гладил лошадь, капая слезами на землю. Если Филат был близко, Спиридон Матвейч гнал его:

— Ты — выйди, Филат, там мужики понаехали, а ты деньги упускаешь!

Филат ехал и видел бедного человека в солдатской одежде, горстью утолявшего жажду из лошадиного лотка.

Скоро лето смерклось окончательно, и небо потухло за глухими тучами.

В одну пропащую ночь, когда земля, казалось, затонула в темном колодце, на том краю степи загудели пушки. Слобода одновременно проснулась, зажгла лампадки, и каждый домохозяин сплотил вокруг себя присмирившую семью.

Под утро стрельба смолкла, и неизвестная степь покрылась поздними туманами. В этот день слобода ела только раз, потому что будущее стало страшным, а дожидаться его хотелось всем безрассудно, и продовольствие тратилось экономно.

Вечером через слободу без остановки проехал конный отряд казаков, волоча четыре пушки. Некоторые казаки попоили лошадей у Филата на колодце. Спиридон Матвейч им продал табаку и узнал, что казаки ехали домой, но Совет города Луневецка их с оружием не пропустил и приказал разоружиться. Казаки отказались; тогда Совет выслал отряд, и казаки приняли бой. Теперь казаки идут на Дон обходным путем — через суходолы и водоразделы, бросив населенные речные долины, где завелись Советы.

— А из кого эти Советы набраны? — спросил Спиридон Матвейч.

— Кто их смотрел! — равнодушно ответил казак и сел на коня. — Говорят, там батраки и иногородние — всякая такая чужая сволочь!

— Вроде него, что ль? — указал Спиридон Матвейч на Филата, на котором от ветхости разверзалась одежда.

Казак тронул коня и оглянулся:

— Да — подобная голь.

Попозднее долго звонил колокол церкви, собирая ко всенощной всех опечаленных, всех износивших жизнь, всех, в ком смыкаются вежды над безнадежным сердцем. От свечей и скорбных вздохов через паперть шел дым и восходил вверх вянущим седым потоком. Нищие стояли двумя рядами и ссорились от своего множества, считая молитвы до конца службы. Грустное пение хора слепых выплывало наружу и смешивалось с тихим шелестом умерших деревьев. Иногда слепая солистка пела одна — и покорность молитвы превращалась в неутешимое отчаяние, даже нищие переставали браниться и умильно молчали.

А после службы люди сразу забывались и переходили к едким заботам. Одна умная женщина, покинув паперть, уже совестила мужа:

— Эх вы, мужики, — только ноете с бабами! Взяли бы ружья, отесали кольца — да и пошли бы на деревню мужиков к закону приучать! А то у вас и хатенки поотберут, а вы все будете Богу молиться да у чутуна толпиться: бабы побздики, пра-аво!

Но муж ее молчал и сопел, раздражая этим жену.

— Ух, идол ненаглядный! — свирепела жена и с неотлегнувшим сердцем шла до самого двора. Дома ямщик скорее ложился спать и отворачивался к стенке, считая бегущих клопов.

Спиридон Матвейч ходил в церковь очень редко, и то из любви к пению. А Филат совсем не ходил — объяснял, что одежды нет.

На дворе стало уже холодать — Филату трудно терпелось в сарае, пока ходила лошадь: никакая ушивка больше не держалась на прозрачных, сторевших от пота штанах, а пиджак истерся в холодный лепесток. Но Филат видел, что за день хозяин от колодца выручает копеек тридцать — мужики совсем перестали ездить в слободу, — и попросить на починку одежды стеснялся. Он знал, что если его Спиридон Матвейч прогонит — ему конец: теперь никто не возьмет работника — все ямщики с потерей земли заплошали.

В одно утро Филат встал, вышел из кухни на двор — и весь свет для него переменялся: выпал первый мохнатый снег. Вся земля затихла под снегом и лежала в мирной мертвой чистоте. Надолго смирившиеся деревья опустили ветки и бережно держали снег, гулкий воздух стоял на месте и ничего не трогал. Филат сделал отметку подошвой на снегу и вернулся на кухню.

Было рано, хорошо и прозрачно. В такой час можно чувствовать, как кровь трется в жилах, и особо остро переживаются те заглохшие воспоминания, где сам был виноват и губил людей. Тогда стыд поджигает кожу, несмотря на то что человек сидит один и нет его судьи.

Филат вспомнил мать, забытую в деревне, умершую на дороге, когда она шла спасаться к сыну. Но сын ничем не мог помочь матери — он тогда пас в ночном слободских лошадей и питался поочередно у хозяев. А жалованье — десять рублей в лето — приходилось на осень. Мать увезли с дороги обратно в деревню и там без гроба закопали добрые люди. После того Филат ни разу не был в своей деревне — за пятнадцать лет он не имел трех свободных дней подряд и крепкой одежды, чтоб не стыдно было показаться на селе. Теперь его на родине забыли окончательно, и больше не было места, куда бы добровольно тянуло Филата, не считая дома Игната Порфирыча.

В этот первый снежный день Спиридон Матвейч сказал, что лошадь надо продать — выручки с колодца нет, а сено дорого. Филат же должен искать себе новое место, а пока может жить на кухне, но харчей не будет — не те времена.

Филат притих. Когда ушел хозяин, он потрогал свое тело, которое доставляло ему постоянную беду от желания жить, и не мог никак очнуться.

Лошадь хозяин повел в деревню сам — и к вечеру вернулся один. Филат обошел круг, по которому топталась лошадь, и почти то же чувство тронуло его, что и в пустой хате на свалке, после ухода Игната Порфирыча.

Филат, ничего не евши, переночевал еще одну ночь, а утром пошел напрашиваться к Макару. Кузница стояла холодная, и дверь ее наполовину утонула в снегу. Макар сучил веревку в сарае и разговаривал сам с собою. Филат расслышал, что веревка не верба — и зимой растет...

Когда Макар увидел Филата, он и слушать его не стал:

— Хорошим людям погибель приходит, а таким маломощным, как ты, надо прямо ложиться в снег и считать конец света!

Филат повернулся к воротам и, неожиданно обидевшись, сказал на ходу:

— Для кого в снегу смерть, а для меня он — дорога.

— Ну и вали по нем — ешь его и грейся! — с досадой закончил разговор Макар и перевел зло на веревку: — Сучья ты вещь, рваться горазда, а груз тащить тебя нету!..

Филат почувствовал такую крепость в себе, как будто у него был дом, а в доме обед и жена. Он уже больше не боялся голода и шел без стыда за свою одежду. «Я ни при чем, что мне так худо, — думал Филат. — Я не нарочно на свет родился, а нечаянно, пускай теперь все меня терпят за это, а я мучиться не буду».

Дойдя до дома З. В. Астахова, Филат разыскал хозяина и сказал ему о своей нужде. Захар Васильевич слушал обоими глухими ушами и понял Филата:

— Вчерась, говорят, сторож на кладбище умер — сегодня к обедне звонить некому было: ты бы наведалься!

Жена Захара Васильевича мыла посуду и услышала совет мужа:

— Да сиди уж со своим сторожем — дьякон сам лазил звонить, — ты с глухото ничего не слышишь! Да и сторожа, Никитишна говорила, взяли — Пашку-сапожника.

— А? Какого Пашку? — спрашивал Захар Васильевич и моргал от внимания.

— Да Пашку-то! Сестра у него — Липка! — кричала жена Настасья Семеновна. — Мать-то он в прошлом году из могилы раскапывал — волоса да кости нашел! Вспомнил теперь?

— А! — сказал Захар Васильевич. — Пашку? Филат бы громче звонил!..

## 9

День еще не кончился, а от туч потемнело, и начал реять легкий, редкий снег. Заунывно поскрипывала где-то ставня от местного дворового сквозняка, и Филат думал, что этой ставне тоже нехорошо живется.

Больше нигде Филата не ждали, и следовало только возвратиться к Спиридону Матвейичу на кухню и натошак переночевать.

Филат подумал, что еще рано: ляжешь — не уснешь, и пошел на свалку.

Дом Игната Порфирыча стоял одиноко, как и в прошлый год. Только много дорожек к нему по снегу протоптано: то бродили нищие к обедне и к вечерне.

Филат остановился невдалеке: внутрь дома его не пустили бы нищие. Под снежной пеленою ясно вздувались кучи слободского добра, а за ними лежала угасшая смутная степь.

Вдалеке — в розвальнях, по следам старого степного тракта — ехал одинокий мужичок в свою деревню, и его заволакивала ранняя тьма. И Филат бы сел к нему в сани, доехал до дымной теплой деревни, поел бы щей и уснул на душевных полатях, позабыв вчерашний день. Но мужичок уже скрылся далеко и видел свет в окне своей избы.

Филат заметил, что в доме кто-то хочет зажечь огонь и не может — наверно, деревянное масло все вышло, а керосина тогда нигде не продавали. Дверь дома открылась, изнутри раздался гортанный гул беспокойных нищих, и вышел человек с пылавшей пламенем сигаркой. Это он закуривал и освечивал окно. Человек с трудом неволил больные ноги по снегу и припадал всем туловищем. Дойдя до Филата, он вздохнул и сказал:

— Человек, сбегай за хлебцем в слободу — я тебе дам шматок, — ноги не идут!

Филат оживел и помчался, а нищий присел на корточки, чтобы не мучить ног, и стал ждать его.

Когда Филат вернулся с хлебом, нищий позвал его в хату:

— Пойдем погреться. Я тебе ножиком хлеб поровней отрежу, что ж ты тут один стоишь!

В хате было темней, чем снаружи, и воняло ветхой одеждой, преющей на нечистом теле. Филат никого не мог разглядеть — сидело и лежало на полу и на скамейке человек десять, и все говорили на разные голоса.

Нищие уличали друг друга в скрытности и считали, кто сколько сегодня добыл.

— Ты мне не рассказывай, шлюха, я сама видела, как она тебе пятак подавала!..

— А я сдачи дала четыре, плоскомордая квакалка!

— А вот и нет, уж не бреши, — женщина повернулась и ушла...

— Ах ты, рыжая рвота, да у меня ни одного пятака нету — вот поди сыщи!

— А зачем ты бублик жевала, сладкоежка? Вот пятака-то и нету, матушка!

— Молчи, вошь сырая! А то как цокну в пасть, так причастие и выйдет наружу!..

И одна женщина поднялась, судя по голосу, — молодая и здоровая. Но тут зычно треснул чей-то мужской голос:

— Эй вы, черти-судари, опять хлестаться? Уймись! Свету дождемся, тогда я вас сам стравлю!

— Это все Фимка, Михал Фролыч! Она меня сладкоежкой ругает, что я бублик за год съела! — жаловался тот же свежий голос.

— Фимка! — гудел Михаил Фролыч. — Не трожь Варю: она не сладкоежка: сходит на двор — не увезешь на тележке!

Нищие захохотали, как счастливые люди.

Филат стоял у порога и слушал голос того, кого Варя назвала Михаилом Фролычем. Но больше Михаила Фролыч ничего не говорил.

Вдруг у Филата вспыхнула вся душа, и он без памяти крикнул:

— Игнат Порфирыч!

Нищие сразу замолкли.

— Это что за новый опоросник явился? — спросил в тишине голос Михаила Фролыча.

— Миша, это я! — сказал Филат. — А где тут Игнат Порфирыч?

Миша подошел к Филату и засветил спичку:

— А, это ты, Филат? Какой Игнат Порфирыч?

Филат ослабел ногами и слышал работу огромного сердца в своем пустом теле.

Он прислонился к стене и тихо сказал:

— А помните, мы жили тут втроем зимой?

— Ага, ты про Игнатия спрашиваешь? — вспомнил Миша. — Был такой, да куда-то заховался — со мной его нету.

— А живой он теперь? — покорно спросил Филат.

— Если не лег где-нибудь, то живой стоит. Что он за особенный?

Миша отвечал скупно на вопросы, и Филат начал стесняться спрашивать больше. Скоро Миша лег на пол в углу, подложил под голову локоть и задремал. Филат не знал, что ему делать, и жевал хлеб старого нищего.

— Ложись с нами, молодой человек! — пригласила Варя. — На дворе стыдь наступила. Прихлопни дверь — и ложись. Завтра опять нам ручкой прясть и лицом срамиться. Ох ты жизнь — мамкина дура...

Варя еще побранилась немного и затихла. Филат прилег боком около Миши и омертвел до белого утра.

Миша поднялся рано — прежде нищих. Но Филат уже не спал.

— Ты куда, Миша?

— Да ведь я по делу, Филат. Вчера пришел — ночевать негде, вот и стал на старом месте. А сегодня я далеко должен быть.

— А где? — спросил Филат.

— До Луневецка должен бы дойти. Там Игнат Порфирыч меня дожидается... Кадеты поперли насмерть — насилу допросился в губернии подмоги.

Миша внимательно запаковал сумку, запахнул шинель и сказал Филату:

— Ну, ты пойдешь, что ли? Игнат Порфирыч поминал тебя... Успеем ли их целыми застать — казаки всю степь забрали. Хоть бы отряд не застрял — в губернии обещали сегодня послать. Набрешут, идола, — у самих крутовня идет...

Миша подошел к Филату, одернул на нем измятый пиджак и вспомнил:

— Вчерась я тебе ничего не хотел говорить: думаю, на что ты нам нужен. Да проснулся ночью, поглядел, как ты спишь, — и жалко тебя стало: пусть, думаю, идет — пропадает человек.

Оглядев место ночлега, чтобы ничего не забыть, Миша тронулся. Филат — за ним и забыл про дверь.

Варя сразу почувствовала холод и от досады проснулась:

— Дверь оставили — чертовы меренья!